Пророки

Дети, дети,
Крапивное семя,
Наследники, дездичады,
Неразличимые, как предметы,
Замыленному глазу судорожного века!
Вы – пророки,
Грядущие в мир, и здесь уже.

Пророки, позванные Богом
В ночи по имени, посланные
В дома ребёнка, спецприёмники, подвалы,
В одинокие, неполные, однополые, безотцовые бизнес-семьи,
В тоску, заботы, соития, смерти, лютые иллюзии будней,
В мусорное кипение городов.

Поколение пророков:
Отчего, думаешь, этот
Так зол, ненавидит и мать, и бабку, и педагога,
Отчего в тетрадях острое и кровь чертит,
На кого в кармане
Китайский нож выкидной носит?
Взгляни: разве не блистает
В этом профиле огненная ярость, ревность
Илии, коего ноздри
Переполнил смрад Ваалов?

А этот, аутично
ФМ-раковинами залепивший уши, во что смотрит?
Думаешь, в миры травы, в недра
Электронных бродилок?
Взгляни, взгляни в эти восхищённые очи,
В зрачки, предела достигшие зренья, –
Не новый ли Иезекииль зрит колесницу?

Или она, полутора лет от роду,
В серой фланелевой, некогда оранжевой, рубахе
На четыре размера больше, с приютским
Номером, по подолу выжженным хлоркой,
Чей щетинистый аэлитный череп вытянут щипцами,
Чей живот небесно-синё вздут рахитом,
Чей лик терпелив, хмур, всепонимающ,
Чьи дни и дни – стоянье
В клетке кровати, полированье поперечин,
Раскачиванье, оцепененье, –
К полуночи очнувшись,
На каком языке она в неслышный
Собачий захлёб плачет? – на том же
Древнем обессловеслом
Языке скорби,
На матерней жали брошенной малютки,
На которой плакал в ночи Иеремия
О городе, некогда многолюдном.

Или этот, ещё в утробе
Вписанный в прайс-листы фетальной индустрии,
Нерождённым расчленяемый аккуратно, жадно:
Ножницы в затылок, отсос мозга, коллапс черепа, кода, –
Думаете, кусок безымянного мяса? –

Нет, ангел боли
Уже нарёк ему имя: это
Захария, убитый заживо
Между жертвенником и алтарём.

Четвёртая раса: подонки.
(«Нет, представь, на днях взял
В кредит мечту – уютную, утробную, моего размера,
Розовую, сбыточную! Несу домой – и что же?
Тут в подворотне подонки!
Напали, из рук выбили, глумились,
Растоптали мечту в стеклярусную пыль, в ноль!
Их надо давить и вешать принародно,
По телевизору казнь казать, чтоб другим неповадно!
Подонки, подонки!»)

Казнь – показ – наказ: так и будет.
Чтобы не раздражали,
На площадях вас побьют камнями.

Пророки, поколение подонков:
Со дна, неутопимы, всплывают
Пылающие глаголы Суда и жизни.

Спас

Приходи ко мне поиграть, видишь,
Какой Я пятикупольный слепил для тебя пряник.
Разложил твои любимые игрушки:
Свечечки, иконки, платочки.
Приходи, Я тебя не напугаю,
Ничем не потревожу,
Дырки в руках и ногах, чтоб ты не видел,

Аккуратно залеплю
Сусальным пластырем.
Приходи на пятнадцать своих минут, переведи
запыхавшуюся душу,
Поиграй, побрякай в кадилы-кропилы,
Расскажи Мне свою хвастливую сказку,
Свою жалобу, обиду, сопельку.
Побудь со Мной, дай
Подышать тебе в макушку,
Подуть на твои ободранные коленки,
Вытереть твои слёзы.
Хочешь, буду для тебя чем хочешь:
Буду Медовым, Яблочным,
Ореховым – только завтра
Приходи снова.

***

На кого мы свои грехи возложим,
Братья и сестры,
Кого вытолкаем в пустыню к азазелю?
Уборщицу, бабушку в чёрном.
Пусть она там паперть полирует,
В бритвенном взмахе
Цокающих магдалин шваброй режет под сухожилья:
«Ишь, выспались, припёрлись,
Страха Божия нет у вас, срамницы,
Телеса оголили, ходют и ходют!» Ходят и ходят
Ходики памяти: жизнь уборщицы в чёрном
Длилась столько, сколько она вспоминает, –

С небольшим минуту:
Любовь, комсомол, весна, Ободзинский,
Дешёвое вино, патруль у храма на Пасху,
«Эй вы, мракобесы, айда на танцы!..»

Швабры на плечо, бабушки в чёрном,
Марш, терракотовые армии воздаянья,
Прикладом бей, магазинной коробкой бей: азазели
Подавятся вашими швабрами, сдохнут,
Бабушки в чёрном, жертва за грехи, столп и
Утвержденье прихода!

Атеист

Июль наполняет потрескавшийся от зноя сад
гудением пчёл: это роение
чёрных точек возраста,
белый шум Вселенной, прилив.
Кресло в тени, книга на коленях,
но он не читает. Меж разверстых страниц,
словно меж желтоватых волн,
муравей, яко посуху,
путешествует в Ханаан.

Свою первую Нобелевскую премию
старик получил в те времена,
когда для того, чтоб чего-то достичь в науке,
одной борьбы за мир было маловато.

Смерти он не боится, потому что представляет,
как устроены механизмы мира.
О всех, кого давно пережил,
он помнит, но не то чтобы тоскует:

он как юный велосипедист,
который отбился от компании, к месту общего сбора
поехал совсем другой, никому не известной дорогой
и намного опередил друзей
и вот теперь просто ждёт их здесь.
Скоро встреча.

Собака (должна здесь быть и собака,
непременный психопомп одинокого мужчины
из поздней зрелости в старость)
ждёт в саду вместе с ним,
свесила лиловый язык, вытянула лапы,
иногда моргает гноящимся,
окружённым седой щетиной глазом.

Он бреется каждое утро,
отвечает на все письма, даже
на самые ничтожные,
употребляя принятые в его время церемонные обороты,
и аккуратно постригает махры ниток на манжетах
застиранной добела рубахи
маленькими маникюрными ножницами,
оставшимися после смерти жены.

Честная последовательность его мышления
соизмерима с невероятной бездной пылания
Того, к Кому
он неизменно вежливо обращается на «вы»
(не из высокомерия или сарказма,
просто потому, что так приучили в детстве).

Бижутерия

Читал утреннее правило,
Почувствовал пустоту за грудиной.
Схватился сжать края,
Стянуть обратно – и чётки
Порвались: нить истлела.
Звонко зёрна застукали, дробно
Запрыгали по полу.
А это не чётки – шёпотки, щепотки,
Тенётки – это
Мамины красные пластмассовые бусы
Запрыгали по пятнам солнца, пыли,
По старому, звонкому молодому паркету.
Оставь, не подбирай. Приложи, словно обрёл впервые,
К деревянной тёплой беспредельности
Ладони, потом щёку,
Потом всего себя, прищурь веки – видишь,
Каким золотым, огромным стал деревянный конь у стены.
Солнце всё шире поёт. И его не застят
Эти стаи синиц, треща, славословя, нахлынувшие,
Множащиеся неимоверно,
Налипающие на стёкла
С той стороны окна кельи,
Привлечённые сухим летающим цоком
Рассыпавшейся псевдорябины.

Паркет всё теплее, бусины
Всё звонче. Мама
Скоро придёт.

«Блаженны»

Врата отпирают раз в году –
когда постом на изобразительных
поют «Блаженны».
(Поют поскору, труда ради постового,
потому успей переоблачиться
и выйти на солею класть три поклона – в этом месте
клирос немного тебе поможет, потянет:
«Пооооомяниииинасгоооооооспаадиииии
егдаприиидеееешивоЦаарствиитвоооооеееем...»)

Врата отпирают со скрежетом, и заключённый
с лёгким узелочком в руке, немного пьяный
от воздуха марта, холода, света,
сини,
покидает (колючка, прожектора,
лай собак, бесстрастные вертухаи на вышках
подняли воротники тулупов)
зону комфорта.
Как там, помните, говорил Егор Прокудин:
«Садиться надо весной» – преждеосвящённой
весной и выйдешь.

С.А. ДМБ-87

ну-ка вспомни, зёма,
какой подарок получали мы утром
заветного дня
23 февраля
за завтраком? я помню
квадратную, в лиловой обёртке
пачечку вафель ягодных

и как раскрывались врата неба
и свершалось светолитие благодати
на нас, утлых;

никакой не мифический бром и тем более
не патриотический долг, а
сладкое
вообще заменяло тогда бойцу
желания, душу, девушку, родину, счастье, спасение;
как (помнишь нашу
эталонную мальчуковую книгу жизни?)
билли бонсу некогда
ром был и мясом, и водой, и женой, и другом…

нигде более в ссср
не был дант так полно,
пряно,
вещественно
воплощён в жизнь
из ада сквозь чистилище в рай,
как в рядах советской армии срочной службы.
и нет вергилия, кроме вергилия,
и незаслуженно смилостивившийся к тебе, салаге, дедухан,
внезапный пророк его.

рай, достигаемый муками перерожденья,
рай, зарабатываемый религиозным праксисом,
рай шаговой доступности,
конкретный и осязаемый, –
о ты, дембель!

все атрибуты святых – се
твои, брате!
нимбы жития, крылья, светы
шевроны, погоны, петлицы, кокарды, аксельбанты –
все доступны в сакрально-заветном
магазинчике военторга.

любовь и свобода – что ещё и петь тебе, брате,
самозабвенно-последне
летящему в вагоне ночью
тыдымм-тыдымм
поющему со ангелы лихую
безоглядную песнь:
«дембель в маю –
всё аллилуйа!»

и только годы и годы спустя,
если повезёт,
салют дембеля в тебе наконец угаснет
и ты
начнёшь что-то понимать.

одного не поймёшь, спросишь: «но разве
это Ты был там?!
драящим парашу,
зашаривающим от построенья,
портящим показатели роты,
доходягой, нехваткой, чмом, салабоном?!» – и сам же
в содрогании ответишь:
«Кто же ещё?»

Колобок

Начало сказки про Колобка
в детстве вызывало брезгливость:
«по сусекам поскребла, по амбарам помела».
сор, мышиный помёт, паутина –
всё в тесто. Из круглого, волгло-серого
щепка торчит наружу.

Но с тех пор, видишь,
я вырос.

Наклони голову. Опускаю епитрахиль,
кругло, бережно
накрываю сверху ладонями:
«благодатию и щедротами Своего человеколюбия» –
внутри такое тепло,
как в русской печи,
сор выгорает дотла, хлеб поднимается, пышен.

Выныриваешь, дышишь
всей собой. Косынка сбилась.
Глаза сияют – не здесь.
Щёки румяны.
Мир нов.

Катись, Колобок.

***

Осень. Митрополит
облетает крестным лётом город.
Ответственное мероприятие.
Предоставленный вертолёт грохочет.
Чтобы надеть наушники, пришлось снять митру.
Седенькая макушка волгла.
Митрополит моргает, робко
глядит вниз
и видит всё впервые:
кирпичные, охряные, серые домики,
ржавые крыши, щетина антенн;
белоснежная застенчивая мэрия, сделанная в технике оригами
и невесомо, неловко, как чужая,
присевшая на миг
посреди старой соборной площади;
трубы шарикоподшипникового завода
косо, синё
кладут ленточки-дымы на розу ветров;
муравьями – автомобили, гусеничками – трамваи,
в трамваях дробятся стёкла;
узенькая, тяжёлая лента реки
блестит, когда её переворачивают
с боку на бок, как скользкую драгоценную рыбу;
плеснутое оземь палое злато листвы
из скверов, дворов
затекает всюду: неумелый мальчик-октябрь
закрашивал неосторожно, заходя кисточкой
за карандашный контур прориси.

Осень. Листья летят внизу – митрополит
Летит вверху.

Митрополит смотрит на город,
на всё, оказавшееся родным.
Он остро, слёзно
хочет туда, вниз.
Он забыл чинопоследование важного молебна
и только шепчет севшим тенорком: «Слава Тебе, Боже,
сотворившему законы аэродинамики!»

Публикуется в авторской редакции